



ПАСТУХ
И ПАСТУШКА

**ВИКТОР
АСТАФЬЕВ**



МОСКВА

УДК 821.161.1-82
ББК 84(2Рос=Рус)6я44
А91

Фотография на 1-й стороне переплета
© Николай Максимов / РИА-Новости
Фотография на 4-й стороне:
© Рудольф Кучеров / РИА-Новости

Астафьев, Виктор Петрович.

А91 Пастух и пастушка / Виктор Астафьев. — Москва :
Эксмо, 2025. — 512 с.

ISBN 978-5-04-217670-8

Виктор Петрович Астафьев (1924–2001) — выдающийся русский писатель, лауреат Государственных премий СССР и РСФСР. В 1942 году он ушел добровольцем на фронт, в 1943 году после окончания пехотного училища был отправлен на передовую и до самого конца войны оставался рядовым солдатом. На фронте был награжден орденом Красной Звезды и медалью «За отвагу». В этот сборник вошли его произведения, раскрывающие темы любви и нравственности в военное время. Автор поднимает острые вопросы и не боится честно и открыто отвечать на них в ходе повествования.

УДК 821.161.1-82
ББК 84(2Рос=Рус)6я44

ISBN 978-5-04-217670-8

© Астафьев В. П., наследники, 2025
© Оформление.
ООО «Издательство «Эксмо», 2025

ЗВЕЗДОПАД

Я родился при свете лампы в деревенской бане. Об этом мне рассказала бабушка. Любовь моя родилась при свете лампы в госпитале. Об этом я расскажу сам. О своей любви мне рассказывать не стыдно. Не потому, что любовь моя была какой-то уж чересчур особенной. Она была обыкновенная, эта любовь, и в то же время самая необыкновенная, такая, какой ни у кого и никогда не было, да и не будет, пожалуй. Один поэт сказал: «Любовь — старая штука, но каждое сердце обновляет ее по-своему».

Каждое сердце обновляет ее...

Это началось в городе Краснодаре, на Кубани, в госпитале. Госпиталь наш размещался в начальной школе, и возле нее был садик без забора, потому что забор свели на дрова. Осталась одна проходная будка, где дежурил вахтер и принуждал посетителей следовать только через вверенный ему объект.

Ребята (я так и буду называть солдат, потому что в моей памяти все они сохранились ребятами) не хотели следовать через объект, «пикировали» в город мимо вахтера, а потом рассказывали такие штуки, что у меня перехватывало дыхание и горели уши. Тогда еще не было в ходу слова «пошляки», и оттого, стало быть, я не считал похождения солдат пошлыми. Они просто были солдаты и успевали с толком провести отпущенное им судьбой и войной время.

Вам когда-нибудь приходилось бывать под наркозом, под общим наркозом, несколько раз подряд? Если не приходилось — и не надо. Это очень мучительно — быть несколько раз под наркозом.

Я, помню, был маленький и играл с ребятами на сеновале... Они бросили на меня охапку сена, навалились, и я стал задыхаться. Я рвался, бил ногами, но они смеялись и не отпускали меня. А когда отпустили, я долго был совсем как очумелый.

Когда мне давали первый раз наркоз, я досчитал до семи. Делается это просто: раз — вдох, два — выдох. Потом станет душно и захочется крикнуть, рвануться, вытолкнуть из себя тугой комок, стряхнуть тяжесть. И рванешься, и крикнешь. Рванешься — это значит слегка пошевелишь рукой, а крикнешь — чуть слышным шепотом.

Но неведомая сила внезапно вздымет тебя с операционного стола и бросит куда-то в бесконечную темноту, и летишь в глубь ее, как звездочка в осеннюю ночь. Летишь и видишь, как гаснешь.

И все.

Ты уже во власти и воле людей, но для себя ты тоже не существуешь.

Я почему-то думаю — так вот умирают люди. Может быть, и не так. Ведь ни один умерший человек не смог рассказать, как он умер.

Тогда я завидовал тем, кто быстро засыпал под наркозом. Очень тяжело засыпать долго. Минуло больше двадцати лет, а меня душит запахом больницы, в особенности хлороформом. Вот поэтому я до сих пор не люблю заходить в аптеки и больницы.

Помню, в тот раз, с которого и началось все, я досчитал до семидесяти и канул во тьму.

Приходил в себя медленно. Где-то внутри меня происходила непонятная, трудная работа, словно диски

сцепления в двигателе подсоединялись один к другому и мозг ненадолго включался. Я начинал чувствовать, что мне душно, что я где-то лежу. И снова все отдалялось, проваливалось. Но вот я еще раз почувствовал, что мне душно, что я лежу, и кругом тишина, и только бесконечный, пронзающий голову звон летит отовсюду.

Я напрягся и открыл глаза.

Посреди палаты было светло. Я долго смотрел туда, боясь закрыть глаза, чтобы снова не очутиться в темноте.

Горела лампа. Стекло на ней было прикрыто газетным абажуром, и я постепенно разглядел и увидел, что абажур повернут так, чтобы свет не падал на меня.

Мне почему-то стало приятно. Возле лампы спиной ко мне сидела девушка и читала книгу. Она в белом халате, поверх воротничка вроде бы темнела косынка. Волосы вытекали из-под белого платка на ее острые плечи.

Шелестели страницы. Девушка читала. А я смотрел на нее. Мне хотелось воды, чтобы смыть из горла тошноту, но я боялся испугнуть девушку. Мне было до жалости приятно смотреть на нее и хотелось плакать. Я ведь был все равно что захмелелый, а хмельные русские люди всегда почему-то плачут или буянят.

И чем дольше я смотрел на девушку, тем больше меня охватывала эта умильная жалость и оттого, что лампа вот горит, и что вот девушка читает, и что я снова вижу все это, вернувшись невесть откуда. И, наверное, заплакал бы, но тут девушка обернулась. Я отвел глаза и полуприкрыл их. Однако я слышал, как она отодвинула стул, как повернула абажурчик, и мне стало светлее. Слышал, как она пошла ко мне. Я все слышал, но маскировался, сам не знаю почему.

Она склонилась надо мной. И тут я увидел ее темные глаза с ослепительно яркими белками, разлетевши-

еся на стороны брови, изогнутые ресницы, слегка припухлую, нравную губу, тоненькую шею, вокруг которой в самом деле была повязана цветная косынка. Нет, вру. Она не повязана была. Халатик на девушке был с бортами, и косынка спускалась с шеи вдоль этих бортов. Из кармана халата торчал градусник с обвязанной бинтом верхушкой. А одна пуговица на халате была пришита черными полинявшими нитками. И еще на девушке была кофточка, тоже завязанная черной тесемочкой, как шнурок у ботинка, — двумя петельками. А выше петельки дышала ямка. Я видел, что она дышала, эта ямочка! Я все, все увидел разом, хотя в палате горела лампа, всего лишь семилинейная лампа. Наверное, был еще какой-то свет, который озарил мне всю ее!

— Ну, как вы?

Я постарался бодро ответить:

— Ничего.

Девушка озабоченно и смешно сдвинула брови, которые никак не сдвигались, потому что очень уж разбрелись они в разные стороны, и подала мне воды. Я потянулся к стакану, но девушка отстранила мою руку, ловко подсунула мне под голову ладонь и приподняла меня.

Я выдул полный стакан воды, хотя пить не особенно хотелось. Она спросила:

— Вам дать снотворный?

— Не, — испугался я, застигнутый врасплох этим предложением, — я не хочу спать. — И, чего-то стесняясь, добавил: — Я уже наспался...

— Тогда лежите спокойно.

Она снова села за стол и раскрыла книгу. Но теперь я уже не решался долго смотреть на девушку. И только так, изредка, украдкой пробегал по ней глазами. Она сидела вполоборота, готовая прийти в любую секунду ко мне. Но я не звал ее, не решался.

В палате спали и бредили раненые солдаты. Некоторые скрежетали зубами, а Рюрик Ветров, бывший командир минометного расчета, все время невнятно командовал: «Огонь! Огонь!.. Зараза! Вот зараза!.. Вот за-ра-за... Во-о-о-за-ра-за-за-за...» Это уж всегда так: отвоюется наяву солдат, а во сне еще долго-долго продолжает воевать. Только во сне очень трудно стрелять. Всегда какая-либо неполадка стряется: курок не спускается либо ствол змеевиком делается. А у Рюрика, видать, мина в «самоваре» зависла, вот он и ругается. Мину из трубы веревочной петлей достают. Опасно! Вот он и ругается. Война во сне очень нелепая, но она всегда заканчивается благополучно. Иной раз за ночь убьют раз десять, но все равно проснешься. Во сне воевать ничего, можно.

Я так и не решился позвать девушку. Я просто чуть-чуть шевельнулся, и она подошла. Подошла, положила ладошку на мой горячий лоб и ровно бы всего меня накрыла этой прохладной и мягкой-мягкой ладошкой, потому что всему мне сделалось сразу легче, нервная дрожь, смятение, духота и покинутость оставили меня, отладились, утихли.

— Ну, как вы? — снова спросила она. И снова я сказал:

— Ничего... — Сказал и проклял себя за то, что никаких других слов на ум больше не приходило. — Ничего, — повторил я и заметил, что она собирается снять ладошку с моего лба и уйти. Я сглотнул слюну и чуть-чуть шевельнул пальцами здоровой руки. — Вы... вы какую книжку читаете?

— «Хаос». «Хаос» Ширванзаде. Читали?

— Не-ет. «Хаос» я не читал. А вот «Намус» читал. Это вроде бы тоже Ширванзаде?

— По-моему, да.

Снова стало не о чем говорить. Я знал, что она вот-вот уйдет, и заторопился:

— А я много книжек читал. — Мне тут же стало жарко, и я пролепетал: — Правда, много, разных, всяких... Ну, может, и не так много... — И разом возненавидел себя за такое хвастовство, и отвернулся к стене, и отрешенно ковырнул стенку ногтем, уверенный, что девушка сейчас уйдет и будет вечно презирать меня.

Но она не уходила.

Я прислушался.

Да, она стояла рядом, и я, кажется, слышал ее тихое дыхание.

— Вам, может, почитать? — спросила она.

— Ой, пожалуйста! — обрадовался я. Девушка огляделась, покусала губу.

— Ах, нельзя! Свет будет мешать вам и соседу вашему, а он тяжелый. Знаете что, давайте лучше тихонько пошепчемся, а?

— Чего-о?

— Ну, поговорим шепотом.

— Давайте, — тоже сразу переходя на шепот, стыдливо согласился я.

И мы заговорили шепотом.

— Вы откуда? — наклонилась она ко мне.

— Сибиряк я, красноярец.

— А я здешняя, краснодарская. Видите, как совпало: Краснодар — Красноярск.

— Ага, совпало, — тряхнул я головой и задал самый «смелый» вопрос: — Как вас зовут?

— Лида. А вас?

Я назвался.

— Ну вот мы и познакомились, — сказала она совсем уж тихо и отчего-то опечалилась.

А я лихорадочно соображал: не сделал ли опять что-нибудь неловкое?

— А теперь помолчим. Вам еще нельзя много разговаривать. Вам поспать бы.

— Нет, не буду, мне уже ничего... — запротестовал я, — хорошо.

— Знаю я вас. Все вы так геройствуете, а потом...

И я сразу скис. Конечно, все мы. Нас тут много. А я-то уж, готово дело, расчувствовался. Она небось со всеми так вот шепчется, всех ласкает, как умеет. Жалко ей, что ли, пошептаться или воды подать. А я аж целый стакан выдул, балда!

И до того я расстроился, что мне, по всей видимости, стало хуже, и, когда я очнулся снова, рассвет уже забил робкий огонек лампы.

Солдаты просыпались, кряхтели и охали, потому что вместе с ними просыпалась боль от ран, боль от недавно сделанных операций. Стоны, ворчанье, кашель, ругань — знакомая картина.

По окну криво текут капли. Ветка черная видна, вся усыпанная каплями, светлыми, круглыми. Два нахохленных воробья сидят на ветке — подачек ждут — крошки им из окна бросают.

У нас с поврежденным позвоночником лежит Афоня Антипин из города Бийска или из деревни, что под Бийском. Он без подушки лежит, на матрасе, набитом песком. Кровать его поставили так, чтоб хоть эту ветку видно было, воробьев, — все радость какая-никакая.

За ним, так, чтоб можно было руками дотянуться и подать Антипину чего потребуется, глыбится грудью, брюхом и сыто хрюкает ноздрями старшина Гусаков, командир полковой разведки. Обе ноги у него в гипсе, желтые, белым вымазанные, пухлые ступни и пальцы с кривыми ногтями торчат из-под одеяла — оно ему коротко, одеяло-то, а он, скабрзник и посказитель, поясняет, что одеяло ночью с ног стягивается по причине воздействия хорошего харча и прелюбодейных сновидений.

Старшина спит здорово, но чуток, как птица, — разведчик! — и, учуяв шевеление в палате, хуркнул затяж-

но, прощально и сладко, завыл, открыв широченный зубастый рот. Зевая, он подтянулся, схватившись за спинку кровати, и глянул в окно:

— Прилетела стая воробушков на землю зерна клевать, ох и настала погодушка, растуды же, туды ее мать! Ну, что, Афоня? — это он к Антипину обращается, они из одного взвода разведки, и ранило их в одном поиске, и, кажется, вернулось из поиска-то всего двое — Гусаков с перебитыми ногами выпер с нейтралки Антипина на себе. Что-то, видать, не додумал, не доглядел Гусаков, перед тем как идти в поиск, и вот всячески выслуживается за всю перебитую группу перед Антипиным. Впрочем, если б на фронте можно было воевать без ошибок, мы бы уж давно в Берлине были.

— Шоб тому хвюеру! — ворчит вислоусый украинец, мой сосед, схватившись за полоску бинта, приклеенную к животу. — Шоб ему на тым свити було як мэни сейчас...

— Как дела? — спросил меня Рюрик Ветров, всю ночь командовавший минометом.

— Живу, — коротко ответил я, глядя на лампу, которую забыла погасить Лида. «Где она сейчас? Сменилась или нет? Хорошо быть ходячим».

— Курить будешь? — опять полез с вопросом Рюрик.

— Без курева тошно.

— А я, братцы, закурю, — испрашивая у всех разом разрешения, сказал Рюрик.

Никто ему не ответил. Через минуту в палате хорошо запахло табаком, и ненадолго пропала палатная вонь, в которой смешались все запахи, какие только бывают в больницах.

Утренняя разминка продолжалась, шел ленивый треп, и ожидание няни с тазом для умывания и несколько позднее — завтрака.

— И что за сторона такая? Мокрень и мокрень! — жаловался старшине Антипин, делая передышки. — Текот и текот, текот и текот! Это ж весь тут отсыреешь. Вот бы меня домой — у нас уж мороз так мороз, жара так жара. И люди не подвижные, хоть в грубости, хоть в ласке нарастопашку. Меня бы домой, а?

Это повторяется изо дня в день — Антипин намекает старшине, чтобы тот выхлопотал эвакуацию в другой, желательно алтайский, госпиталь. Но дела Антипина плохи, ему нельзя и здесь-то шевелиться, даже много разговаривать нельзя, силы его убывают. Старшина Гусаков и все мы это знаем. Потому старшина увиливает от разговора с Антипиным. Он громко, с показной озороватостью, командует:

— Кому что снилось? Докладывай!

— Да че может нам сниться? Война! Все она, проклятая, все она...

— У меня опять мина в трубе зависала, мучился, мучился, — откликается из угла Рюрик.

— Выгудили?

— Дак уж и не помню.

Худой, непородистой щетиной обметанный мужичонка, из тех, чьей фамилии не узнаешь, имени и роду-племени тоже, пока он не помрет или что-нибудь выдающееся с ним не случится, вдруг подал робкий и смущенный голос от двери.

— А мне баба приснилась. — Мужичонка сделал паузу, и вся палата заинтересованно насторожилась. — Голая! Прет на меня, понимаешь, и грудя у ей, как мины... — Мужичонка опять прервался, сглотнул слюну.

— Нну-у!!! Дальше-то чего?! Дальше?..

— Дальше? Испугался я. Попятился...

— Э-э-эх! — простонал старшина Гусаков. — Везет мужикам! Хватался бы за мину-то, обезвреживал...

— Э-э, нет! — Мужичонка оживился. — Я — сапер! Сдуру за мину не схвачусь. А ну как и рванет!.. Я думаю: такой сон к выздоровлению, братцы, а? — повернул он разговор на серьезное направление.

— Знамо! Баба голая да еще чужая уж зазря не при-
снится! Это уж точно!

Мы с Рюриком и рты пооткрывали — внимаем! Я и про боль, и про наркоз, и про все позабыл, но тут после долгих попыток все же уселся на кровати мой сосед, отстонался, отхныкался и укоризненно покачал головой:

— Ай-яй-яй! Парубки тут, диты неразумные, а вони таку шкоду размовляють!..

Старшина Гусаков сконфуженно крикнул, прокашлял скрипуче горло и, приподнявшись на локте, нашел меня взглядом:

— Ну как ты там, недорезанный парубок?

— Живу! — коротко, как и Рюрику, ответил я, не спуская глаз с лампы.

«Хорошо-о, — сердился я неизвестно отчего, — очень хорошо! Водички попил, на косыночку посмотрел, пошептался — и рассолодел, готово дело. И до чего я чувствительный, оказывается! Но не на такого напала! Меня, брат, такими штучками не доймешь... Я, брат... Я вот сейчас встану и погашу лампу. Какого черта она горит днем? Керосину много, да? Я вон до фронта на станции работал составителем поездов. Там дальние стрелки иной раз не освещали: керосину не хватало. А тут, видали, палят!»

Я оперся здоровой рукой о кровать, сел, и все пошло передо мной кругом: палата, стол с лампой, скуластый Рюрик, у которого ран было столько же, сколько и годов, — девятнадцать...

Постепенно все встало на свои места. Я глянул на Рюрика. Он мне подмигнул. Хорошая у него морда.

Нос набок, рот большущий, уши круглые, как у соболя; в треугольнике рубашки виднеется орел с утиным клювом, увлекающий женщину под небеса.

Рюрик знает обо мне решительно все, и я о нем тоже — мы одногодки.

Я подхватил раненую руку, поднялся, утвердился на полу, подошел к столу и дунул. Свет в лампе качнулся, взмыл вверх, и его не стало. Еще недолго от фитиля тянулся дым, обволакивая и без того потемневшее за ночь стекло, но и дым скоро исчез.

— Дай докурить, — подсел я к Рюрику.

Он обкусил замусоленную сигарку, выплюнул ошметок на пол, сунул недокурок мне в губы.

— Раза два дерни, и все, довольно.

— Ладно.

Я затынулся два раза, и Рюрик без лишних разговоров вынул окурок из моих губ. Я еще посидел маленько и, страшась расстояния в три шага, отправился на свою кровать. Голова закружилась. Меня качнуло и бросило на соседа. Он зажмурился от ужаса, но я не упал на него. Падать на него было нельзя — он ранен в живот.

— Носит тебя тут, — заворчал сосед. Он поймал меня за кальсоны, подтолкнул вперед.

Ходячих у нас в палате не было, и я кое-как самостоятельно добрался до своей кровати.

Я ныром вошел в подушку, отдышался и закрыл глаза. Стало сильнее тошнить. Зря курил, совсем зря.

Этот день прошел в каком-то зыбком полусне. Я ничего не ел, не курил больше, читать не мог, разговаривать тоже. Наркоз выдыхался медленно. После завтрака обход. Старшая сестра, палатная сестра, кастелянша, няня и другой разный народ — все в белых халатах, и у всех такой вид, будто они к безобразникам, если не к разбойникам в камеру, зашли, чтобы подвергать